

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

## “ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВБАКУМА...”

### Глава 15. Роковой рубеж

Жизнь в революционной России – многогранная сфера смешения ценностей, чувств, образов мышления, действий и противодействий. Динамика этого коловорота определяется огромными просторами территории, временем совершения событий, скоростью вызревания в умах людей, объединённых в различные группировки, понимания того – что уже произошло и что ещё происходит, что может произойти – и “чем дело кончится и сердце успокоится”.

Как будто кто-то поворачивает гигантский калейдоскоп, вращая его по нарастающей, всё быстрее и быстрее, и события то разбегаются отдельными осколками жизни по самым отдалённым уголкам Руси, то складываются в тот или иной жизненный уклад-узор, который тут же вновь распадается на другие осколки.

Жизнь России со времени революционного взрыва в Петрограде, и так не отличавшаяся гармоничностью и цельностью, приходящая с начала войны во всё большее и большее расстройство, – становится совершенно мозаичной. Вся Русь превращается на глазах в огромное, постоянно меняющееся на глазах мозаичное полотно. Мозаика складывается из отдельных кусочков событий, распадается и тут же складывается заново в изменившуюся до неузнаваемости картину жизни народа.

В этой мозаике бытия революционной России люди, события – как кусочки смальты – то крепко соединяются в неразрывное целое, то внезапно падают, чтобы скрепиться с другими осколками жизненной смальты, оказаться встроенными в совершенно иную жизненную картину. И главными средствами, определяющими композицию и смысл этой мозаики, становятся цели, ожидания, надежды людей.

Человек, будучи как бы кусочком смальты в общей мозаике жизни, по мере движения революционной стихии становится сам “человеком-мозаикой”, в которой роль осколков смальты играют его меняющиеся ценности, цели, восприятие жизненных противоречий и сами его противоречивые действия, поступки, изменения отношения к происходящему и к самому себе.

\* \* \*

Камертоном, по которому власть победивших определяет ценность человека, является его отношение к революции: принял – не принял. А затем – его отношение к власти: наш – не наш. (Этот камертон определял и события февраля–октября 1917 года, и события августа 1991 – октября 1993 года.) И никто

---

Продолжение. Начало в № 1–11 за 2009 год, № 1–3 за 2010 год.

не задумывается, что даже у тех, кто революцию принял — есть свои цели и чаяния. Каждый хотел от революции реализации своих ожиданий и надежд. Люди — кусочки смальты — в революционном потоке стихии действовали непредсказуемым даже для самих себя образом, видя действительность совсем иную, чем предполагали до революции. Действительность превзошла все их ожидания и изменила их цели.

Художники знают, что мозаика на гладких поверхностях никогда не смотрится так, как на изогнутых — размещённые под различными углами кубики смальты начинают искриться и переливаться различными оттенками. Революция изогнула и изменила всё российское пространство, а купол сферы ценностей и целей обрушил на него потоки нестерпимого света, обнажив и обнаружив то, что прежде не бросалось в глаза в жизни общества и отдельных людей, что было сокрыто как в пространстве внешнего бытия, так и во внутреннем личном пространстве. Да и свет революции лился с разных сторон, проникал неравномерно, доходя к тем или иным людям в разное время, как свет звёзд до разных планет... В одном уголке России события уже произошли, их свет догорел, а в другом — искра только-только начала порождать огонь, чтобы преобразовать его в слепящее сияние.

Потоки света шли в разных направлениях, с разной скоростью и улавливались по-разному, в зависимости от того, как их воспринимал конкретный человек. Встреча революционного света со светом человеческой души порождала либо новую вспышку жизненного и художественного творчества, либо гасила свет души, погружала человека во мрак. Как на мозаике богатство красок, так и в жизни народа, освещаемой революцией, краски жизненной палитры обогащались в зависимости от того, насколько люди были готовы к световым бликам и отблескам революции. В зависимости от того, какие цели ставил конкретный человек — либо он в противоречивой, саму себя не знавшей революционной действительности становился творцом своей жизни, либо утрачивал все великие ожидания и надежды. Как в мозаике под влиянием неравномерного освещения свет приобретает такое богатство и разнообразие оттенков, которого не бывает под ровным, прямым светом, так и революционная жизнь, мозаика революционной России порождала неимоверное количество новых форм жизни и новых форм творчества. Старые ценности в глазах многих и многих дематериализовались под влиянием мозаики событий, а новые формы жизни только прорастали.

\* \* \*

Мозаика жизни 1917 года, калейдоскоп событий, сменявших одно на другое и сталкивающихся в непримиримом противоречии, поражают воображение и поныне.

3 (17) апреля появляется в Петрограде приехавший в “экстерриториальном” вагоне из Германии Ленин. С броневики на Финляндском вокзале он провозглашает лозунг: “Да здравствует всемирная социалистическая революция!” На следующий день в Таврическом дворце звучит ленинский доклад — знаменитые Апрельские тезисы.

21 апреля (4 мая) в Петрограде проходит стотысячная демонстрация рабочих и солдат с требованием мира и передачи власти Советам.

27 апреля (10 мая) Временное правительство издаёт постановление о свободе печати и торговле произведениями печати.

Через 2 дня военный министр Гучков подаёт в отставку, заявляя, что армия ему не подчиняется.

4 (17) мая в Петрограде открывается Всероссийский съезд крестьянских депутатов.

На следующий день образуется коалиционное Временное правительство из трудовиков, эсеров, меньшевиков, кадетов, народных социалистов, само собой, естественно, масонов. Председатель — князь Львов.

Ещё через неделю в столице начинает создаваться Красная гвардия — вооружённые отряды, для которых лучшей “матерью порядка” являлась всеобъемлющая анархия.

Проходит несколько дней — и начинается расследование о контактах Ленина и Зиновьева с немецким командованием.

24 мая (6 июня). День, отмеченный преинтереснейшим событием. В Петрограде проходит сионистский съезд, на который собрались самые отчаянные революционеры – большевики, меньшевики, бундовцы, эсеры, анархисты, поалей-ционисты – еврейской национальности. Было принято решение о дальнейших действиях – о вооружённом восстании.

2 (15) июня на первом Всероссийском съезде духовенства и мирян в Москве Сергей Булгаков горестно вопрошал: “Если грядущая Россия станет строиться без имени Христа, если демократия российская окажется в духовном разрыве со Святой Русью, то... кому она нужна, кому из нас дорога будет отрекшаяся от Христа Россия?”

На следующий день в Петрограде открывается 1 Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, на котором большая часть мандатов принадлежит эсерам.

А ещё через день зал заседания съезда после реплики Церетели, что нет партии, способной занять место Временного правительства, огласил гортанный ленинский возглас: “Есть такая партия!”

20 июня (3 июля) Временное правительство отменяет обязательное преподавание Закона Божьего. Через неделю отменяются положения столыпинской аграрной реформы.

3 и 4 июля в столице проходит вооружённая антиправительственная демонстрация, организаторами которой были петроградские анархисты под лозунгами: “Берегись, капитал, булат и пулемёт сокрушат тебя!” “Да погибнет капитализм от наших пулемётов!” Большевики вопреки своим первоначальным призывам присоединились к этой “акции”, после чего Временное правительство восстановило смертную казнь на фронте и ввело “военно-революционные суды”. Большевистская партия перешла на нелегальное положение.

Через несколько дней в знак протеста против попытки министров-социалистов объявить Россию республикой князь Львов ушёл в отставку. Премьером Временного правительства стал А. Керенский, который через неделю клялся жесточайшим образом подавить любую попытку восстановления монархии.

10 (23) июля Ленин и Зиновьев скрылись из Петрограда. 16 (29) июля генерал А. Деникин представил Временному правительству план установления в России военной диктатуры, а Л. Корнилов был назначен главнокомандующим армией.

3 (16) августа завершает недельную работу VI съезд РСДРП(б), который берёт курс на вооружённое восстание. Партия большевиков увеличивала свою численность день ото дня.

13(26) августа всеобщая забастовка в Москве.

Через 2 дня в Успенском соборе открылся Всероссийский Поместный Собор Русской Православной Церкви, на котором были сняты клятвы против староверов и установлен праздник Всех Святых в Российской земле просиявших.

А в конце августа – так называемый “корниловский мятеж”. Переговоры делегатов Керенского – В. Львова и Б. Савинкова – с Корниловым, обращение генерала “Ко всем русским людям” и объявление Временного правительства о том, что Корнилов – изменник Родины.

В эсеровской газете “Дело народа”, где печатались и Клюев, и Есенин, “корниловский путч” обсуждался во всех подробностях. Печатались выступления министров – из которых кто каялся, а кто отказывался от Корнилова (мятеж не удался!). Передовая статья одного из сентябрьских номеров словно изрыгала пули из пулемётного дула: “диктатура демократии”, к чему призывают “левые” – неизбежная попытка власти меньшинства над большинством. Это всё равно, что провозглашение “диктатуры над самим собой”, ибо “всякая диктатура покоится на меньшинстве”.

Тут же – извещение о телефонном разговоре Корнилова с Савинковым (во всей этой истории, по-хорошему говоря, не счесть параллелей с пресловутым “путчем” августа 1991 года!). Корнилов настаивает, чтобы Савинков от имени Временного правительства предложил ему двинуть на Петроград конный корпус, сосредоточение которого явится, по савинковской телеграмме, моментом объявления Петрограда на военном положении. . . Савинков клянётся, что никогда от имени Керенского он никаких политических комбинаций Корнилову не предлагал, утверждает, что Керенский “каким-то образом был втянут в этот план и всё делалось за спиной Временного правительства”.

Корнилов клянётся, что говорил Савинкову: “Для спасения страны нужен совет обороны при участии в нём А. Ф. Керенского”. Савинков отвечает, что он этого при разговоре не понял. Виктор Чернов, автор этого душераздирающего материала, спрашивает — что это за фарс и почему до сих пор не арестованы Савинков и Филоненко, ездившие к Корнилову, упрекает Керенского, что тот — “романтик революции” — верил Савинкову, который чуть было не установил корниловскую диктатуру... “В планы Тройственного Союза — Савинкова-Корнилова-Филоненко входило распространить военную дисциплину на железнодорожный персонал и на пролетариат фабрик, работающих на оборону, — т. е. все железнодорожные депо и три четверти русской промышленности превратить в казарму!”

Но ещё 31 августа Зинаида Гиппиус сделала в дневнике примечательную запись: “...Ведь уже с первого момента всем было видно, что *нет никакого корниловского мятежа*. ... Беспорно ожидался в Петербурге — самим Керенским — большевистский бунт, ожидался ежедневно, и это само собой разумело войска с фронта... Поведение же его (Керенского. — С. К.) ... сумасшедше-фатально... С того момента, как на всю Россию раздался крик Керенского об “измене” главнокомандующего, — всё стало непоправимым... Керенский теперь всецело в руках максималистов и большевиков. Кончен бал”.

В том, что “кончен бал”, сомнений не было ни у кого, кто мог трезво оценивать события. Уничтожающую характеристику возглавившему Временное правительство “социалисту” дал Сомерсет Моэм, резидент английской разведки, работавший на свержение Керенского и на утверждение главой республики Бориса Савинкова: “Керенский... произносил бесконечные речи. Был момент, когда возникла опасность того, что немцы двинутся на Петроград. Керенский произносил речи. Нехватка продовольствия становилась всё более угрожающей, приближалась зима, и не было топлива. Керенский произносил речи. Ленин скрывался в Петрограде, говорили, что Керенский знает, где он находится, но не осмеливается его арестовать. Он произносил речи”.

Пока произносились бесконечные речи — Россия неостановимо погружалась в пучину смуты и развала.

Деревня уже находилась в состоянии гражданской войны. Бои за землю шли нешуточные — одно село шло на другое с оружием в руках под командованием бывших солдат и дезертиров с криками “ура!” А столица...

Достаточно вчитать в спокойные строки письма Анны Ахматовой к Михаилу Лозинскому от 16 августа 1917 года:

“Единственное место, где я дышала вольно, был Петербург. Но с тех пор, как там завели обычай ежемесячно поливать мостовую кровью сограждан, и он потерял некоторую часть своей прелести в моих глазах”.

И жутким откликом на послефевральскую смуту стало отсылающее к древнейшему русскому памятнику “Слово о погибели русской земли” Алексея Ремизова:

“Было лихолетье, был Расстрига, был Вор, замутила смута русскую землю, развалилась земля да поднялась, снова стала Русь стройна, как ниточка, — поднялись русские люди во имя русской земли, спасли тебя: брата родного выгнали, красноречивый Кремль очистили — не стерпелось братнино его иноверное.

Была вера русская искони изначальная.

Много знают поволжские леса до Железных ворот, много слышали горячих молитв, как за веру русскую в срубях сжигали себя.

Где ты, родная твердыня, Последняя Русь?

Я не слышу твоего голоса, нет, не доносит и гари срубной из поволжских лесов.

Или в мати-пустыню, покоряясь судьбе, ушли твои верные сыны?

Или нет больше на Руси — Последней Руси бесстрашных вольных костров?”

И причину кошмара, творящегося на русской земле, Ремизов зрит в оскудении и исчезновении веры.

“Человекоборцы безбожные, на земле мечтающие создать рай земной, жёны и мужи праведные в любви своей к человечеству, вожди народные, только счастья ему желавшие, вы, делая дело своё, вы по кусочкам вырывали веру, не заметили, что с верою гибла сама русская жизнь...”

Русь моя, земля русская, родина беззащитная, обесповаженная кровью братских полей, подождена горишь!”

В плач по русской земле вторгается покаянная нота самобичевания.

“О, моя родина горемычная, мать моя униженная.

Припадаю к ранам твоим, к горящему лбу, к запекшимся устам, к сердцу, надрывающемуся от обиды и горечи, к глазам твоим иссеченным.

Я не раз отрекался от тебя в те былые дни, грозным словом Грозного в отчаянии задохнувшегося сердца моего проклинал тебя за крамолу и неправду твою.

“Я не русский, нет правды на русской земле!”

Но теперь — нет, я не оставляю тебя и в грехе твоём, и в беде твоей, вольную и полоненную, свободную и связанную, святую и грешную, светлую и тёмную.

И мне ли оставить тебя — я русский, сын русского, я из самых недр твоих...”

И словно отвечает Ремизов в “Слове о гибели русской земли” Клюеву — его “Поддонному псалму”, его величанию России: “О родина моя земная, Русь буреприимная! Ты прими поклон мой вечный, родимая, свечу мою, бисер слов любви неподкупной... Вижу тебя... бабой-хозяйкой, домовитой и яснозубой, с бёдрами, как суслон овсяный, с льняным ароматом от одежды... Тебе только тридцать три года — возраст Христов лебединый, возраст чайки озёрной...” У Ремизова и Русь сгубла, и поминальная лампада вместо свечи зажжена:

“О, родина моя обречённая, покаранная, жестокой милостью наделённая ради чистоты сердца твоего, поверженная лежишь ты на мураве зелёной, вижу тебя в гари пожаров под пулями, и косы твои по земле рассыпались.

Я затеплю лампаду моей веры страдной, буду долгими ночами трудными слушать голос твой, сокровенная Русь моя, твой ропот, твой стон, твои жалобы...”

Это “Слово” Ремизов написал 5 октября 1917 года и уже позже, в Париже, встретив писателя, Керенский упрекал его за то, что тот своим “Словом”, написанным “против главы Временного правительства”, сыграл на руку большевикам. “Играть на руку” кому бы то ни было Ремизов и не думал, и своё “Слово” — плач по послефевральской России — опубликовал уже в России послеоктябрьской — сначала в литературном приложении к газете “Воля народа”, а затем — во 2-м сборнике “Скифы”.

\* \* \*

А первый сборник вышел летом в Петрограде — с романом Андрея Белого “Котик Летаев”, драматической “русалией” Ремизова “Ясня”, циклом Клюева “Земля и железо” и стихотворением “Оттого в глазах моих просинь...” с посвящением “прекраснейшему из сынов крещёного царства крестьянину Рязанской губернии Сергею Есенину”. Сборник предварялся стихотворением Валерия Брюсова “Древние скифы” и апокалипсическими камланиями Иванова-Разумника и С. Мстиславского.

Позже, на вечере памяти Блока в Вольной Философской Ассоциации Иванов-Разумник вспоминал: “Идея духовного максимализма, катастрофизма, динамизма — была для Блока тождественна со стихийностью мирового процесса; только случайным отсутствием Александра Александровича в Петербурге и спешностью печатания сборника объяснялось отсутствие имени Блока в “Скифах”... К концу 1917 года, уже после Октябрьской революции, вышел второй сборник “Скифов”, опять без произведений Александра Александровича; он должен был появиться впервые в третьем. Кстати рассказать: в первом сборнике было напечатано стихотворение Валерия Брюсова “Скифы”, и тогда мы говорили с Александром Александровичем, насколько эти брюсовские “Скифы” мало подходят к духу сборника (настолько мало подходят, что, печатая их, мы, редакция сборника, сами переименовали их в “Древних скифов” — так и было напечатано), говорили и о том, какие “Скифы” должны бы были быть напечатанными, чтобы скифы были скифами, не “древними”, а вечными. А. А. Блок напомнил об этом разговоре, когда в начале восемнадцатого года дал мне прочесть только что написанных своих “Скифов”. Вместе с тогда же написанными “Двенадцатью” они должны были открыть собою третий том нашего сборника. Но времена переменялись — не до “сборников” больше было...”

Действительно, “не до сборников”... Блок писал свои “Двенадцать” и “Скифы” уже совсем в другую эпоху — оглядываясь не на брюсовские стихи, а на клюевский цикл, на есенинские поэмы “Товарищ”, “Пришествие”, “Отчарь”, которыми Есенин упивался в эти месяцы, как небесным нектаром.

Предисловие же к сборнику Иванова-Разумника звучало предельно агрессивно и восторженно-устрашающе:

“Скиф”.

Есть в слове этом, в самом звуке его — свист стрелы, опьянённой полётом; полётом — размеренным упругостью согнутого дерзающей рукой надёжного, тяжёлого лука. Ибо сущность скифа — его лук: сочетание силы глаза и руки, безгранично вдаль мечущей удары силы. . .

Великий русский поэт, воплотившись на минуту в древнего Эллина — Эпикурейца, воспел умеренность, закруглённость, примирённость во всём, в великом и малом, в жизни и в смерти, в любви и в круговой чаше. . .

*Мы не Скифы; не люблю  
Други, пьянствовать бесчинно...*

Как далёк он был душою, как далёк он был всей жизнью своею от этой проповеди тихого, умеренного приятя жизни, тихого, размеренного житейского горения! И если вино не должно проливаться “бесчинно”, то бывают времена и сроки, когда ещё преступнее “жизни пьяное вино растворять водою трезвой”:

*Теперь не кстати воздержанье:  
Как дикий Скиф хочу я пить!*

И эти времена и сроки — всегда перед нами; всегда кипит перед нами вечное вино жизни. Бесчинно проливают его безумцы, по каплям смакуя его духовные скопцы. Но если безумец может быть оправдан, то скопец — всегда осуждён. . .”

К слову: именно эти слова стали побудительным толчком для клюевского “шокирующего” стихотворения “О скопчество — венец, золотоглавый град. . .”, где физиологическая образность лишь оттеняет духовную составляющую, а дикая страсть, выламывающаяся из каждой строки, словно укрощается к финалу кнотом “времени-ломовика” — и завершается этот гимн “осуждённого” безапелляционной строкой: “Пусть критики меня невеждой назовут”. Так уже и назвали. И назвал именно тот, кто всю дорогу величал и будет величать Клюева первым поэтом революции.

Этого “разброда и шатания” в скифском лагере ещё не чует Иванов-Разумник — и строит в боевые порядки “скифов” и “эллинов” перед решающим революционным боем:

“... Не Эллин противостоит Скифу, а Мещанин — всесветный, “интернациональный”, вечный. В подлинном “эллине” всегда есть святое безумие “скифа”, а в стремительном “скифе” есть светлый и ясный ум “эллина”. Мещанин же — рядится в одежды Эллина, чтобы бороться со Скифом, но презирает обоих. . . Это он, всесветный Мещанин погубил мировое христианство плоской моралью, это он губит теперь мировой социализм, покоряя его духу Компромисса, это он губит искусство — в эстетстве, науку — в схоластике, жизнь — прозябанию, революцию — в мелком реформаторстве. . . Пусть торжествует в настоящем всесветный Мещанин: смех его смешан со злобою и опасением. Ибо чует он, что и личина Эллина не поможет ему скрыть своё лицо, ибо знает он, что стрела Скифа — его не минует. . .”

Ничто в “Скифах” не мыслилось иначе, как в мировых масштабах и глобальных категориях.

Андрей Белый кроме “Котика Летаева” публикует статью “Жезл Аарона”: “Мудрость высокого герметизма продолжается ныне в суждениях о логическом Логосе. Здесь логический Логос вступает в борьбу с лесным Паном (природою звучного слова). Футуризм и логизм (звуки слов, смыслы слов) примиряем в наши дни не возвратом к природе первично рождённого слова и не возвратом к первично рождённому мифу, а углублением, обострением антиномии слов до сознания, что место логики не в том плане, где логика положила своё бытие, а в ином, более коренном, — до сознания, что звуковая зна-

чимость не есть форма гласящего звука, а — смысл его; может быть, в смысле звука и в смысле конкретнo-логическом пересечение звука и логики явит подземное слово в дневном своём виде; может быть, смысл абстрактного термина зацветёт, точно жезл Аарона”. Красивое сравнение, но если вспомнить, что в библейской книге “Числа” речь идёт о двенадцати жезлах начальников израилевых колен, сложенных в скинии собрания перед ковчегом откровения, и один из которых должен зацвести, дабы Господь избрал отмеченного и тем “успокоил ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на нас” — то речь идёт уже не собственно о поэзии, а о духоводительстве — по жёсткому предначертанию Господа Аарону, даровавшему своему избраннику “всё зачатое в земле Израилевой”. “Багрецы высыхающих смыслов и есть философия, — завершает свой трактат Андрей Белый, — из мифической зелени образуется осень абстракций: рассудок — древесный багрец, и история философии рдеет терминологической сухью; великая красота её в том, что вне листьев её уже зреет зерно, из которого встанет нам некогда новое древо поэзии; в тысячелетии багрянородного древа раскрыта, сказалась вся Мудрость когда-то рождённого слова; и не сказалась ещё тайна Мудрости новорождённых младенческих слов, почиющих стыдливо в душе. . .”

“Тайну мудрости”, “цветок нового Слова”, освобождённый от “ветхих смыслов понятий”, Белый видел в клюевском цикле “Земля и железо” — в нём прозревал он расцветший жезл Аарона.

*В бору, где каждый сук — моленная свеча,  
Где хвойный херувим льёт чашу из луча,  
Чтоб напоить того, кто голос уловил  
Кормилицы мирской и пестуны могил, —  
Там, отроку-цветку лобзание дая,  
Я слышал, как заре откликнулась заря,  
Как вспел петух громов и в вихре крыл возник,  
Подобно рою звёзд, многоочитый лик.*

*Мир выткал пелену, видение темня,  
Но некая свирель томит с тех пор меня;  
Я видел звука лик и музыку постиг,  
Даря уста цветку, без ваших ржавых книг.*

Ответом на “Жезл Аарона” станут есенинские “Ключи Марии”, над которыми он начал работать той же осенью 1917 года — во всяком случае, обдумывать их, суммируя свои многочасовые беседы с Белым и Клюевым. . . С Клюевым, от которого он начал внутренне отстраняться — и сотоварищ его почуял это мгновенно.

“Мир Вам и крепость, возлюбленный Михаил Васильевич, — писал покинувший Петроград и вернувшийся в Олонию Клюев Аверьянову в октябре месяце. — Присылаю Вам “Песнослов” в окончательном виде и буду ждать издания в радости, с уверенностью во внешности его соответствующей содержанию. . . Моя новая книга подвигается вперёд успешно, но ответственное страшное время обязывает меня относиться к своему писанию со всей жестокостью. . .” Значимые слова, ибо далее — “со всей жестокостью” — о Есенине:

“Живу я в большом сиротстве, в неугасимой душевной муке, в воздыханиях и молитвах о мире всего Мира, об упокоении всех убиенных, в том числе об одном известном Вам младенце, жизнь которого и торжество так дороги и насущны мне. Но чего не сделает человек, когда покидает его Ангел? Верую, что младенцы, пожранные Железом, будут в Царстве и наследуют Жизнь вечную. Это меня утешает, хоть и плачет Золотая Рязань. . .”

Жуткий, если вдуматься, текст. Для облегчения своего восприятия можно подумать, что до Клюева дошло ложное известие о смерти Есенина — таких известий тогда было в избытке, люди пропадали неизвестно куда и когда, исчезали в безвестности или появлялись спустя время, к радости близких и знакомых. . . Но у Клюева — речь о другом. О молитве за живого Есенина, как за умершего, наравне с убиенными, ибо “человека покинул Ангел” и плачет по нему Золотая Рязань. . . Есенин со своей стороны мог бы спросить — кого же, в действительности, Ангел покинул? Но у Клюева — своя печаль. Он

шлёт новые стихи Виктору Миролюбову для “Ежемесячного журнала” и специально подчёркивает в письме: “И на этот раз очень прошу напечатать, они для меня и лично нужны, но очень был бы благодарен, если бы Вам понравились они и литературно. . . Я много грешил в Питере — и так сладостно покаяние под родными соснами. Впрочем, и грехи мои так понятны, а иногда даже и нужны. . .” Одно из посланных стихотворений — не покаяние, но жалобный плач. По собственным грехам? Не о них сейчас речь. О горе сердечном.

*Ёлушка-сестрица,  
Верба-голубица,  
Я пришёл до вас:  
Белый цвет Серёжа,  
С Китоврасом схожий,  
Разлюбил мой сказ!*

“С Китоврасом” — с человеком-конём, взятым премудрым Соломоном и заспорившим с хозяином, как повествует древнее “Сказание о том, как был взят Китоврас Соломоном”: “Однажды Соломон сказал Китоврасу: “Теперь я убедился, что сила твоя — как и человеческая, и не больше твоя сила нашей силы, ибо поймал я тебя”. И ответил ему Китоврас: “Царь, если хочешь узнать мою силу, сними с меня цепи и дай мне свой перстень с руки, тогда увидишь силу мою”. Соломон снял с него железную цепь и дал ему перстень. А он проглотил перстень, простёр крыло своё, размахнулся и ударил Соломона, и забросил его на край земли обетованной. Узнали об этом мудрецы и книжники и разыскали Соломона”.

Достаточно было Есенину прочесть в клюевском контексте имя “Китоврас”, чтобы восстановить всю смысловую цепочку и понять клюевский намёк на есенинское “О, Русь, взмахни крылами. . .”, на его “разбойность” и “сшибание камнем месяца”, на его спор “с тайной Бога”. . . И, следуя обратному направлению мысли, вернуться к “мудрости” Клюева-Соломона и “силе” Китовраса (дескать, “сила есть — ума не надо”). . . Всего этого уже хватало для смертельной обиды. Но дальше следовало:

*Он пришелец дальний,  
Серафим опальный,  
Руки — свитки крыл.  
Как к причастью звоны,  
Мамины иконы,  
Я его любил.*

*И в дали предвечной,  
Светлый, трёхвенечный,  
Мной провиден он.  
Пусть я некрасивый,  
Хворый и плешивый,  
Но душа, как сон.*

*Сон живой, павлиний,  
Где перловый иней  
Запустил окно,  
Где в углу, за печью,  
Чародейной речью  
Шепчется Оно.*

“Серафим опальный” сразу же отсылает к “серафиму” из “Святой были”, что “разошёлся. . . с жизнью внутренней” и возвёл “навет” на “святорусский люд” — как тут не вспомнить есенинского “Товарища” с расстрелом в финале Иисуса Христа? А после признания в любви к Есенину, что “к маминим иконам” — высшая степень любовного чувства для Клюева! — опять “самоуничжение”, что паче гордости: “Пусть я некрасивый, хворый и плешивый, но душа, как сон”. . . Это и ответ на жестокие есенинские насмешки, которые тот



позволял себе над старшим собратом, и опять же отсыл к есенинскому “смирному Николаю”, у которого “тихо сходит пасха с бескудрой головы”... И, наконец, обозначение того главного, что и составляет “соломонову мудрость” Николая: знание вещего сна, — “где в углу за печью чародейной речью шепчется Оно”... То таинственное, жизнедающее Оно, что проявилось в “Белой повести”, посвящённой памяти матери, растворившееся в воздухе деревенской избы и кликавшее в иные миры. То незримое, что преображает сущий мир, соединяя его с миром горним, что стало живительной влагой для клюевского слова в предреволюционном цикле “Земля и железо”, от которого пришли в восторг и Белый, и Разумник, и Есенин, и обалдели слушатели Религиозно-философского общества — от маститой Зинаиды Гиппиус до юного Михаила Бахтина.

*Беседная изба — подобие вселенной:  
В ней шолом — небеса, полати — Млечный Путь,  
Где кормчему уму, душе многоплачевной  
Под веретенный клир усладно отдохнуть.*

*Неизреченен Дух и несказанна тайна  
Двух чаш, двух свеч, шести очей и крыл!  
Беседная изба на свете не случайна —  
Она Судьбы лицо, преддверие могил.*

Нет, не может Клюев так просто отпустить от себя своего наперсника и супруга в духе, уже передав ему свои духовные сокровища. Горе настолько велико, ощущение предательства до такой степени губительно, что сам Николай, перед тем как помолиться за Есенина живого, как за умершего, пишет о себе, как об убитом — убиенном царевиче Димитрии злодейской волей коварного Годунова.

*Буду в хвойной митре,  
Убиенный Митрий,  
Почивать, забыт...  
Грянет час вселенский,  
И собор Успенский  
Сказку приютит.*

Ещё не зная этого стихотворения, Есенин при встрече с Петром Орешиним, к знакомству с которым он потянулся, встречая в “Деле народа” и “Знамени труда” его стихи и корреспонденции о деревенской жизни, точнее, о её послефевральском окончательном развале, читал ему только что написанное “Преображение” с молитвой “Господи, отелись!” и пророчеством того, что “Новый Содом сжигает Егудиил” и “зреет час преображенья, он сойдёт, наш светлый гость, из распятого терпенья вынуть выржавленный гвоздь”... Как хотите — но это уже не Христос, распятый римлянами по наущению иудеев. Это — есенинский “светлый гость”, “дорогой гость”, от шествия которого видна лишь “золотая дуга” над облачной кучей и который “из лона голубого, широко взмахнув веслом, как яйцо, нам сбросит слово с проклевавшимся птенцом”... Кажется — отсылка к Клюеву, у которого “в уставе утка, а в утке — песня яйцо...” Только у Клюева, в отличие от него — Есенина — ничего не проклёвывается. Есенин чувствует себя взмывающим поверх разумниковских заклинаний, клюевского религиозно-культурного пласта, беловских теорий. Уже и сам Блок ему не брат... И так Орешину и вызвездил в лоб: “Я от Клюева ухожу. Вот лысый чёрт! Революция — а он избяные песни. А поэт огромный. Ну, только не по пути!...” Давно ли восхищался “Избяными песнями”, читал их наизусть, восторгался, как “олонецкий знахарь хорошо знает деревню” — да и сейчас знает им цену... Цена ценой — а своё, почитай, уже б е с ц е н н о е — ибо крылья за спиной выросли: “Мы ещё Белому и Блоку загнём салазки!..” Клюеву, и даже Блоку, так никогда не сказать! Слишком тут много было от силушки, от внутреннего горения, от вдохновения, от ощущения творческого свершения, что порождает в душе тот восторг, когда не заботишься о словах и не думаешь о справедливости соскочившего с губ... Но

было и серьёзное — явно наметившееся расхождение с Ключевым по каким-то основополагающим позициям.

Если “больше нет Воскресенья” — так и нечего цепляться за старые символы. “Предоставьте мёртвым хоронить мертвецов”... Это и почуял Ключев, у которого впервые в стихи, посвящённые Есенину, вторгся смертный мотив.

\* \* \*

Прошёл октябрь. Без всякого сопротивления был занят Зимний дворец. Анархия по стране разливалась морем разлитым — без конца и без края... Ощущение безвластия всё нарастало. В чьих руках власть — кто знал, кто догадывался, кому было вообще наплевать: “власть народная — значит, моя”. В отдельно взятом уезде, деревне, на сущем пяточке...

А за власть надо драться.

“Будет ещё очень много крови”, — предупредил Ленин. И это при том, что отменялась смертная казнь, отпускались на волю поначалу арестованные враги новой власти под честное слово... Большевики не жаждали крови. Но знали, что кровь будет.

Революция включает в себя столько разнонаправленных потоков, подчас несовместимых друг с другом или прямо враждебных друг другу, что, поистине, приходится проходить через кровь, дабы подчинить эти потоки одному направлению, не дать им затопить наводнением страну, народ, государство... Февральская “хлестнувшая за предел” свобода обнажила во многих и многих преимущественно низкое и эгоистическое. “Это моё, то моё же, а там трава не расти. А в случае чего...” Да и без всяких “случаев” любителей кровушки уже хватало. Жизнь обесценивалась на глазах, амбиции росли, интересы схлёстывались.

Интересы не частных лиц, а целых слоёв, сословий, классов. Кровавый катаклизм стал неминуем после Февраля.

Но пока — советская власть управляет декретами. И первым стал — долгожданный “Декрет о земле”. Отмена частной собственности на землю, уже реально осуществлённая земельными комитетами, фактически узаконивалась.

Отменяется смертная казнь на фронте, освобождаются солдаты и офицеры, арестованные по политическим мотивам. И в первые же дни смены власти начинается стрельба и в Петрограде, и в Москве. “Комитет спасения родины и революции” руководит мятежом юнкеров, который подавлен за один день. Три дня и три ночи обстреливается Московский Кремль. Петроград и его окрестности объявляются на осадном положении.

Под грохот выстрелов на Священном Соборе Русской Православной Церкви проходят выборы патриарха — спустя 200 лет. Им становится митрополит Московский Тихон.

Начинаются выборы в Учредительное собрание. Письма крестьян и городских обывателей в “Учредилку” запоминающиеся.

“Если бы я задал себе вопрос: когда лучше жилось — при “старом строе” или при новом, то я не мог бы ответить. Старый строй с его жандармско-полицейским режимом безусловно мне не симпатичен, “новый” так называемый строй страдает симптомами анархии и полной государственной беспринципностью. Но нужно заметить, что в океане русской анархии повинна старая власть. Историческая лошадь, русский народ, получил свободу, и эта свобода понята им крайне своеобразно и характерно, особенно, с особенностью русского духа, воспитанного “царским режимом”... И если ранее т. н. “революционеры” бежали от “николаевского”, “старого” режима, то теперь людям, стоящим близко к пониманию конституционно-парламентского строя, приходится бежать за границу от царя русской земли, русского мужика с топором в руках, не могущего протереть кулаком глаза и увидеть “правду”, ту правду, о которой он хлопотал и хлопочет...”

“Просим поддержать славу русского народа, да не будет у нас партий, но будут одни все равноправные граждане свободной России. Как раньше уважали чужую собственность, будем и теперь, не ударимся в грязь лицом, пусть наши враги не смеются с нас. Просим разослать по волостям и успокоить народ, граждане свободной России. Просим, товарищи, чужую собственность

не трогать, если кто взял, возратить чьё было обратно, извиниться, у нас ещё много земель, кроме помещичьих, монастырских и удельных. . .”

“Обратите внимание: кто это выдумал перевести часы – должно быть, такой жулик, как у нас. Здесь теперь 8 час., а по-старому 7 час., ведь темно. Ходить совсем нельзя, стали грабить больше. Кто это выдумал, тот сукин сын, подох скоропостижно. Должно быть, захотелось на Николаево место, и выдумал небылицу, ты бы, чёрт говённый, свой бы хрен перевернул другим концом – какую экономию нашёл. Ты идёшь на занятия в 9 час., тебе хорошо и светло – а рабочему хорошо ли – подумал бы! При батюшке царе ничего не было, а теперь каждый день убийства, грабёж и жаловаться некуда. Зато теперь – свобода, подохнуть бы вам всем, кто это выдумал. Прошу передать батюшке Николаю привет. Мы за него молимся, чтобы он встал на престол”.

“Я и другие, много нас, хотим голосовать за батюшку царя Николая, при котором нас, бедняков, никто не трогал и всё было доступно и дёшево, и хлеба было много, а теперь при новом нашем правительстве одни грабежи да убийства и насилия, и жаловаться некуда, и делает всё солдатня. Неужели батюшка не вернётся к нам? Господи, вразуми народ и верни нам защитника царя”.

“Прочитал события при открытии Учредительного собрания. . . я вижу, что вы, представители народа, собрались туда для партийных распрей, а не для работы по восстановлению нового республиканского строя. Довольно шума; довольно братской крови – нужно строительство новой, тихой, светлой жизни; нужно заключить демократический, почётный для всех народов мир. Не нужно вашего шума – нужна плодотворная работа для восстановления жизни изголодавшихся крестьян, солдат и рабочих. . . Все вы там собравшиеся, как я посмотрю, не представляете из себя истинных тружеников, а вы есть люди, ищущие сильных ощущений и любители скандала и самохвальства. Я говорю вам, мой голос пославшего вас туда, что всему бывает предел, считайтесь с голосом народной массы – она хочет покоя, хочет отдыха после проклятой бойни. . . Бойтесь, лопнет наше терпение и мы перебьём и разгоним вас всех и скажем, что мы сами собой будем управлять без всяких партий. Будет одна партия труда и справедливости; не будет ни правых, ни левых. Голос мой есть голос пострадавших людей, как я, – нас легион”.

Всё это многоголосие парадоксально сливается со “Словом о погибели русской земли” Ремизова, которое, уже опубликованное во вторых “Скифах”, Иванов-Разумник в статье “Две России” противопоставлял стихам Клюева и Есенина – анафематствование революции противопоставлял приятию. . . Он тогда не знал о стихах Клюева, написанных той же осенью 1917 года – на рубеже эпох.

*На божнице табаку осьмина  
И раскосый вылуценный Спас,  
Не поёт кудесница-лучина  
Про мужицкий сладостный Шираз.*

*Древо песни бурю разбито, –  
Не Триодь, а Каутский в углу.  
За окном расхлябанное сито  
Сеет копоть, изморозь и мглу.*

.....  
*Сказка — чушь, а тайна — коршун серый,  
Что когтит, как перепела, ум.  
Облетел цветок купальской веры  
В слёзный град, в озимый древний шум.*

С “беседной избой” произошло что-то страшное. Хорошо было разделять: “Уму – республика, а сердцу – мать-Русь. . .” А здесь – “республика” вторглась в сердце избы – и воздух стал другой, и поменялась вся жизнь. Вроде бы – всё на месте, а душа ушла, и космос избыной пропал с глаза и из сердца.

*В избе гармоника: “Накинув плащ, с гитарой...”  
А ставень дедовский провидяще грустит:  
Где Сирия — красный гость, Вольга с Мемёлфой старой,  
Божниц рублёвский сон, и бархат ал и рыт?*

*“Откуля, доброхот?” — “С Владимира-Залеска...”  
— “Сгорим, о братия, телес не посрамит!..”  
Махорочная гарь, из ситца занавеска,  
И оспа полуслов: “Валета скозырим”.*

Живая старина исчезает на глазах, благодатный аромат избы заглушается махорочным дымом, а голоса странников и самосожженцев, вселявших в сердце сладость и печаль, — галдежом картёжников, что уже ни в красный угол, ни на старую резьбу не глянут. Не для них, “цивилизовавшихся”, эта старина, печально покидающая обжитое веком жилище.

*Под матицей резной (искусством позабытым)  
Валеты с дамами танцуют вальц-плезир,  
А Сирин на шестке сидит с крылом подбитым,  
Щипля сусальный пух и сетуя на мир.*

*Кропилом дождевым смывается со ставней  
Узорчатая быль про ярого Вольгу,  
Лишь изредка в зрачках у вольницы недавней  
Пропляшет царь морской и сгинет на бегу.*

Уже не думал ли Клюев, складывая эти, исполненные редчайшей, осмысленной и тревожной красоты, стихи, о своем “белом свет-Серёже”, что ещё ответит ему, ещё позабавится, ещё вдарит своей сокрушительной “Инонией”?

*(Продолжение следует)*